

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Кирилл ПОМЕРАНЦЕВ

СКВОЗЬ СМЕРТЬ

Юрий Павлович Одарченко

Юрий Павлович Одарченко был не только одним из наиболее близких моих друзей, но, вместе с Георгием Ивановым, Ириной Одоевцевой и Владимиром Смоленским, моим учителем искусству поэзии, хотя сам не достиг в ней большого мастерства (такого, например, как Георгий Иванов). Прибавлю, что несколько лет мы жили в одном и том же доме; это позволяло мне часто с ним общаться и вести беседы не только «за жизнь», но о том, что «по ту сторону» и жизни, и добра, и зла. Он был изумительным товарищем и другом. Для меня, во всяком случае.

Теперь, когда я пишу «сквозь смерть» о всех замечательных людях, с которыми мне Высшей волею посчастливилось встретиться, и я так неуклюже отдаю им свой долг, мне становится до боли обидно, что я не смог при жизни по достоинству их оценить. Мне нравилась поэзия Одарченко своей оригинальностью и парадоксальностью, но я не сумел разглядеть за ней человека. Некоторые же высказывания и поступки Юрия Павловича я просто воспринимал как его очередные шутки или чудачества. Лишь после его трагической смерти я стал смутно и постепенно понимать, что его поэзия и он сам были о д н о.

У нормальных людей или, точней, у тех, которых принято считать нормальными, сознание от подсознания отделено настоящим «железным занавесом». В эзотерических школах, начиная с древнейших времен и по наше время, специальными упражнениями готовят учеников к безболезненному, без «шока», проникновению в подсознательный мир духовных существ, заполняющих эту область человеческой души. И подготовка может длиться десятилетиями. Это знает, хотя и неполно, психоанализ, в частности, школа Юнга и его последователей. Но существуют люди, у которых этот занавес уже с рождения более или менее проницаем. Такими, например, были Гоголь и Гойя. Я, конечно, не сравниваю по значительности Одарченко с Гоголем или с Гойей – этим займется история, но лишь отмечаю одну из основных черт их общего душевно-духовного мира.

Друзья и знакомые относились к Ю.П. как к добродушному чудачу, и мне не помнится, чтобы кто-нибудь принимал всерьез его поэзию; никому не приходило в голову в нее вдуматься. Исключение, пожалуй, составлял Георгий Иванов, который благодаря своему необычайному чутью к искусству и – само собой – к поэзии, понимал, что стихи Одарченко есть нечто совершенно новое.

Пользуясь формулой автора «Портрета без сходства», я бы сказал об Одарченко, что ему «искалечил жизнь обман двойного зренья». Он с таким «зрением» родился и как поэт искал способа (то есть словосочетаний) описать увиденное. Отсюда и строки:

Я расставлю слова
В наилучшем и строгом порядке –
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки.

Но что может «изреченная мысль»? Поэтому и от стихов Одарченко никто не побегал. Разве что – если кто вдумывался в его стихи – по коже порой пробегал холодок. Бежал же, но уже от самого себя, он сам. Так, во всяком случае, мне казалось во время наших откровенных бесед. Я уже несколько раз об этом писал. Он мне рассказывал о каком-то знакомом ему французском писателе, который выпивал, «чтобы допить до чертиков», чуть ли не по десяти рюмок перно (французская анисовая водка), после чего ему действительно «лезла в голову всякая чертовщина», а он из нее «стряпал свои небылицы», которые охотно покупались издателями.

– А я, – жаловался Ю.П., – вижу эту чертовщину без всякого перно. Даже наоборот: у меня алкоголь ее прогоняет.

Сколько раз во время таких разговоров он вдруг ни с того, ни с сего быстрым жестом, словно ловил муху, ловил на мне (как и на других) «чертей», «юрких, зелененьких... а рожи-то, рожи!» – с самым серьезным видом объяснял он. И действительно, он их видел, что было очевидным из непосредственной искренности как его жеста, так и его слов.

Все это отлично знал Достоевский, рассказывавший, как Свидригайлов объяснял Раскольникову, что, «если привидения являются только больным», это не значит, что привидений нет, но лишь то, что «привидения могут видеть только больные». В этом отношении характерно стихотворение:

Мальчик катит по дорожке
Белое серсо.
В беленьких чулочках ножки,
Белое серсо.
Солнце сквозь листву густую
Золотит песок,
И бросает тень густую
Кто-то на песок.
Мальчик смотрит, улыбаясь –
Ворон на суку.
А под ним висит, качаясь,
Кто-то на суку.

Мальчик, конечно, не видел. Но Одарченко «увидел»: «кто-то» – смерть мальчика. Даже взрослые редко задумываются над тем, что с каждым новым рождением рождается и новая смерть. Четыре тысячи лет назад в «Бхавагад-Гите» Кришна говорил своему любимому ученику Арджуне, что как только человек рождается, он уже начинает умирать. Толстой уверял, что о смерти начал думать еще ребенком.

Но вот примеры уж буквально «двойного зрения»:

Есть совершенные картинки:
.....
Когда усердно мать хлопчет,
Одеть теплей сыночка хочет,
Чтоб мальчик грудь не застудил,
А мальчик в прорубь угодил.

Когда скопил бедняк убогий
На механические ноги,
И снова бодро зашагал,
И под трамвай опять попал.

И недаром эти картинки называются «совершенными»: они примеры *завершенной* жизни, и не так, как мог предположить человек, но как было в «Высшем решено совете».

В эмиграции Одарченко не ценили, да и мало понимали. Не понимали даже маститые критики и литературоведы, ряд которых, вместо того чтобы вдумываться в его стихи, предпочитал издавать свои беспомощные вещи. Но поэты из Советского Союза, одно время часто приезжавшие в Париж, буквально балдели, когда я им читал его стихи. Они ощущали в них что-то совершенно новое и глубокое, чуть ли не откровение о нашем времени, как мне сказал один из них, сам замечательный поэт. А Ю. П. не переставал повторять: «Подождите пятьдесят лет и увидите...»

Но видишь, Юра, много, много раньше (он умер в возрасте 57 лет, в 1960 г.). Если бы «через 50», – я бы не дожил и не мог бы гордиться дружбой с тобой и радоваться за тебя. Ведь ты же был изумительным по чуткости и таланту человеком. И, как каждый такой человек, редко с кем делился «самым главным».

Пожалуй, с детьми, но с ними – по-детски. Потому что детей Одарченко очень любил, и они любили его. Одной из причин тому было его изумительное умение не только рассказывать, но и придумывать, порой во время самого рассказа, занимательные сказки, само собой, двуплановые

и страшноватые, что детей не смущало, но оставляло у них чувство таинственности окружающего их мира, а не примитивно псевдонаучного, который им вдалбливают в современных школах. Пересказать его сказки я не могу, во-первых, займет слишком много места, а во-вторых, нужен специальный образный одарченковский язык с его специфической интонацией. Приведу лишь несколько строк, но уже лишь «стишок», написанный в альбом моей племяннице Марине Померанцевой, когда ей было двадцать лет:

Вот земной, Мариша, рай:
Зайчик, зайчик, убегай!

Но охотник злой стреляет
И зайчонка убивает.
Ах, как жаль! Ах, как жаль!
Нету права на печаль.

Я умышленно взял слово стишок в кавычки. Марине, конечно, стало жаль зайчика, как это было бы всякому нормальному ребенку, но и было столь же нормально, что жалость была очень скоро забыта. К тому же забвению способствует и предельно ускорившееся наше научно-материалистическое время, буквально не дающее человеку подумать, как одно событие уже сменяет другое, одно открытие – другое открытие. Но если вдуматься в две последние строки «стишка», от них ведь по-настоящему можно «сбежать без оглядки». А вот и другие «совершенные картинки»:

Мышь без оглядки от кошки бежит.
Волка убьют на охоте.
Птица по синему небу летит –
Платят за птицу по счету.
Ясно. Все ясно...

Но кому приходит в голову это «ясно»? Кто задумывается над тем, что *всеми* считается нормальным, когда люди «платят по счету»? А ведь вся жизнь есть расплата и за свои грехи, и за грехи родителей, и за совершенные страной. Вся жизнь человеческая есть расплата. За чьи же «грехи» платил Одарченко, что родился с «двойным зрением», оказавшимся для него роковым бременем, но сделавшим его замечательным поэтом?

Отлично помню, как однажды, когда я засиделся у него до позднего вечера, он вдруг начал рассказывать мне о том, что творится под нами, под землей, в разных ее пластах, какие там буйствуют, мечутся и борются темные духовные силы, одни «липкие», другие «скользкие», но все страшные, готовые нам землетрясения, вулканические извержения, бунты и войны. Я, конечно, по дурацкому своему обыкновению, не подумал записать. Но вспоминается, что становилось страшновато и создавалось впечатление, что действительно что-то копошится, начинает глухо стучать и вот-вот взорвется. А Ю. П. продолжал рассказывать, словно все видит и слышит наяву (для него и было наяву!).

– Неужели не слышишь? Ведь они сейчас землю проломают, наш пол...

Такие рассказы случались не часто, но случались; и ясно чувствовалось, что Ю. П. говорит о том, что действительно видит и слышит, что это видимое не вымысел, не фантазия, но лишь обратная сторона, «изнанка» раздираемого противоречиями и страстями реального мира, в котором мы живем.

Вот как он сам толковал вышедшее из таких видений одно из своих стихотворений:

Медведи стали огурцами
(Я с детства к точности привык),
И повторяю – огурцами.
Многообразен наш язык.
А сколько их в соленой бочке!
В ней русский дух, в ней есть укроп.
Здесь точность требовала б точки,
Но – огурцы. На них укроп...

Неточность вся в последней строчке:
Не снят еще стеклянный гроб.

Когда он мне его прочел, я растерялся, совершенно не понимая, что к чему: медведи, огурцы, бочка, гроб? Юра искренне удивился такой моей тупости: столько лет знакомы, а я не понимаю!

– Да очень просто: медведи – это русские люди, которых большевики «засолили», да так спрессовали, что они стали огурцами в соленой бочке, лежат, не двигаясь, пикнуть боятся.

– Ладно. Но при чем же «стеклянный гроб»?

– Это же стеклянный колпак, под которым в мавзолее лежит мумия Ленина. И до тех пор, пока будет стоять мавзолей, будет держаться и советская власть. Потому-то его так охраняют.

В оккультных кругах это хорошо знают. Об этом говорил и Рудольф Штейнер своим ближайшим ученикам. Я это знал от вдовы Андрея Белого, Аси Тургеневой, долго работавшей с основателем Антропософского общества. Но ни к оккультным кругам, ни к антропософии Одарченко не имел никакого отношения и очень обрадовался, услышав от меня подтверждение своим провидениям.

Он, кроме того, был еще неплохим пианистом и отличным рисовальщиком. В его студии висело несколько картин маслом: «Ночь на Лысой горе», «Шабаш ведьм», вдохновленных его любимым писателем Гоголем; портрет какого-то судьи на Нюрнбергском процессе, голова которого была окружена пробивающейся в нее нечистой силой; словно вылезавшие из полотна цветы. На жизнь он зарабатывал рисунками для материй знаменитых Maisons de Couture. И зарабатывал неплохо – рисунки всегда были оригинальными и исполненными с большим вкусом и мастерством.

Скончался он летом 1960 года, когда я с друзьями проводил свой отпуск в савойской деревушке Сервоз близ Монблана. Куда делись его картины, рисунки, рукописи, – никогда не смог узнать.